

Л. Н.
АНДРЕЕВ

Избранное



Леонид Николаевич Андреев

Мои записки

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156853

Аннотация

«Мне было двадцать семь лет, я только что с выдающимся успехом защитил диссертацию на степень доктора математики – когда меня взяли среди ночи и ввергли в эту тюрьму. Я не стану подробно рассказывать вам о чудовищном преступлении, в котором меня обвинили: есть события, которых люди не должны ни помнить, ни знать, дабы не получить отвращения к самим себе; но, вероятно, существуют еще в живых многие, которые помнят этот страшный процесс и „человека-зверя“, каким называли меня тогда газеты. Помнят, вероятно, и то, как все культурное общество страны единодушно требовало для преступника смертной казни, и только необъяснимой снисходительности тогдашнего главы государства обязан я тем, что живу и пишу сейчас эти строки в назидание людям слабым и колеблющимся. Скажу коротко: был зверски умерщвлен мой отец, старший брат и сестра, и преступление это совершил будто бы я с целью получения действительно огромного наследства...»

Содержание

Часть 1	4
Часть 2	6
Часть 3	10
Часть 4	13
Часть 5	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Леонид Николаевич Андреев

Мои записки

Часть 1

Мне было двадцать семь лет, я только что с выдающимся успехом защитил диссертацию на степень доктора математики – когда меня взяли среди ночи и ввергли в эту тюрьму. Я не стану подробно рассказывать вам о чудовищном преступлении, в котором меня обвинили: есть события, которых люди не должны ни помнить, ни знать, дабы не получить отвращения к самим себе; но, вероятно, существуют еще в живых многие, которые помнят этот страшный процесс и «человека-зверя», каким называли меня тогда газеты. Помнят, вероятно, и то, как все культурное общество страны единодушно требовало для преступника смертной казни, и только необъяснимой снисходительности тогдашнего главы государства обязан я тем, что живу и пишу сейчас эти строки в назидание людям слабым и колеблющимся. Скажу коротко: был зверски умерщвлен мой отец, старший брат и сестра, и преступление это совершил будто бы я с целью получения действительно огромного наследства.

Теперь я старик, скоро умру, и вам нет ни малейшего основания сомневаться, если я скажу, что был совершенно не виновен в чудовищном и страшном злодеянии, за которое двенадцать честных и добросовестных судей единогласно приговорили меня к смертной казни. Просто роковое сцепление обстоятельств, больших и маленьких событий, темного молчания и неясных слов мне, невинному, придали облик и видимость злодея¹. И глубоко ошибся бы тот, кто заподозрил бы меня в нерасположении к моим строгим судьям: нет, они были совершенно правы, совершенно правы. Как люди, которые могут судить о вещах и событиях только по видимости их и лишены возможности проникнуть в их сокровенное существо, они не могли и не должны были поступить иначе. Случилось так, что в игре событий правда о моих поступках, которую я знал только один, приобрела все черты наглой и даже бесстыдной лжи: и как это ни странно покажется моему любезному и серьезному читателю, не *правдой, а только ложью мог бы я восстановить и утвердить истину о моей невинности*. Впоследствии, уже в тюрьме, воспроизводя во всех подробностях историю преступления и суда и представляя себя на месте одного из судей, я каждый раз неизбежно приходил к полному убеждению в своей виновности. Тогда же я произвел одну интересную и поучительную работу: откинув совершенно вопрос о правде и лжи по существу, я подверг факты и слова многочисленным комбинациям, строя из них здания, как маленькие дети строят различные сооружения из своих деревянных кубиков; и после упорных стараний мне удалось наконец найти одну такую комбинацию фактов, которая, будучи ложной по существу, по видимости своей была столь правдоподобна, что моя истинная невинность становилась безусловно ясной, точно и твердо установленной. До сих пор помню то огромное, не лишённое страха, чувство изумления, какое испытал я при моем странном и неожиданном открытии: говоря правду, я привожу людей к ошибке и тем обманываю их; утверждая ложь, привожу их, наоборот, к истине и познанию. Тогда я еще не понимал, что неожиданно, подобно Ньютону с его знаменитым яблоком, я открыл великий закон, на котором зиждется вся история человеческой мысли, ищущей не правды, которой ей не дано знать, а правдоподобности, т. е. гармонии между видимым и мыслимым, на основании строгих законов логического мышления. И вместо того, чтобы радоваться, я в наивном, юношеском отчаянии восклицал:

¹ Как я уже упомянул, смертная казнь была впоследствии заменена пожизненным заключением в одиночной камере.

«Где же правда? Где же правда в этом мире призраков и лжи?» (См. мой «Дневник заключенного» от 29 июня 18...)

Я знаю, что в настоящее время, когда мне осталось жить каких-нибудь пять-шесть лет, меня легко могли бы помиловать, если бы я попросил об этом. Но, помимо привычки к тюрьме и других весьма важных причин, о которых я сообщу ниже, я просто не в праве просить о помиловании и тем нарушать силу и естественное течение законного и вполне справедливого приговора. И отнюдь не желал бы я слышать в применении к себе слова: «жертва судебной ошибки», как выражались, к моему огорчению, некоторые из моих любезных посетителей. Повторяю, ошибки нет и не может быть там где, при совокупности определенных данных, нормально устроенный и развитой мозг непреложно приходит к одному и единственному выводу.

Я осужден справедливо, хотя и не совершал преступления, – такова та простая и ясная истина, в уважении к которой я радостно и спокойно доживаю на земле мои последние годы.

И единственная цель, какую руководился я при составлении моих скромных «Записок», это показать моему благосклонному читателю, как при самых тягостных условиях, где не остается, казалось бы, места ни надежде, ни жизни, – человек, существо высшего порядка, обладающее и разумом и волею, находит то и другое. Я хочу показать, как человек, *осужденный на смерть*, свободными глазами взглянул на мир сквозь решетчатое окно своей темницы и открыл в мире великую целесообразность, гармонию – и красоту². Некоторые из посетителей моих упрекают меня в «надменности», спрашивают, откуда я взял право учить и проповедовать: жестокие в недомыслии своем, они хотели бы и улыбку согнать с лица того, кто как убийца навеки заключен в тюрьму. Нет, – как не сойдет с уст моих благожелательная и ясная улыбка, свидетельство совести чистой и незапятнанной, так никогда не помрачится моя душа, бестрепетно прошедшая сквозь теснины жизни, мощным подъемом воли перенесшая меня через те страшные пропасти и бездонные провалы, где так много смельчаков нашло геройскую, но – увы! – бесплодную гибель. И если тон моих «Записок» иногда может показаться благосклонному читателю *слишком* решительным, то это отнюдь не отсутствие скромности, а лишь твердая уверенность в своей правоте и столь же твердое желание быть полезным ближнему по мере слабых сил моих.

Здесь же я должен извиниться, что буду неоднократно, по степени надобности, ссылаться на мой «Дневник заключенного», неизвестный читателю; но дело в том, что полное опубликование «Дневника» я считаю преждевременным и даже, быть может, опасным. Начатый в далекую юношескую пору жестоких разочарований, крушения всех верований и надежд, дышащий беспредельным отчаянием, он местами с очевидностью свидетельствует, что автор его находился если не в состоянии полного сумасшествия, то на роковой грани его. И если мы вспомним, как заразителна эта болезнь, то моя осторожность в пользовании дневником станет вполне понятной.

О цветущая юность! С невольной слезою во взоре я вспоминаю твои роскошные сны, твои дерзновенные мечты и порывы, твое буйное кипение сил, но не желал бы я твоего возвращения, о цветущая юность! Только с сединою волос приходит ясная мудрость и та великая способность к бескорыстному созерцанию, какая всех старцев делает философами и часто даже мудрецами.

² Как бы мне хотелось этими словами пристыдить тех безумцев, которые, живя на свободе, в довольстве и счастье, отвратительно клеветают на жизнь и отрицают непонятный им высший смысл в существовании человека.

Часть 2

Те из моих любезных посетителей, которые оказывают мне честь выражением своего восторга и даже – да простится мне эта маленькая нескромность! – даже преклонения перед моей душевной ясностью, едва ли могут представить, каким явился я в эту тюрьму. Десятки лет, пронесшихся над моей головою и побеливших мои волосы, не могут заглушить того легкого волнения, какое испытываю я при воспоминании о первых минутах, когда со скрипом ржавых петель открылись и навсегда закрылись за мною роковые двери.

Не одаренный литературным талантом³, я постараюсь со всевозможной точностью представить моему благосклонному читателю себя в ту давнишнюю пору.

Это был почти юноша, 27 лет, как я уже имел случай упомянуть, нрава несдержанного, порывистого, способного к резким уклонениям. Некоторая мечтательность, свойственная возрасту, самолюбие, легко оскорбляемое и становящееся на дыбы при каждом ничтожном поводе, задорная стремительность в решении мировых проблем, припадки меланхолии, чередующиеся с такими же дикими припадками веселья – все это придавало юному математику характер крайней неустойчивости, печальной и резкой дисгармоничности.

Не лишним считаю упомянуть о чрезмерной гордости, фамильной черте, унаследованной мною от матушки и нередко мешавшей мне внимать советам людей более опытных и зрелых, а также о крайнем упорстве в проведении целей, свойстве, самом по себе и хорошем, но становящемся опасным в тех случаях, когда поставленная цель недостаточно продумана и обоснована.⁴

И вот первые дни заключения я вел себя, как и все другие безумцы, попадающие в тюрьму. Я громко и, конечно, бесцельно кричал о моей невинности, яростно требовал немедленного освобождения и даже стучал кулаками в дверь и стены, оставляя их, естественно, глухими, а себе причиняя довольно сильную боль. Помню, я даже бился головою о стены и часами лежал в беспамятстве на каменном полу камеры; и в течение некоторого времени, дойдя до отчаяния, отказывался от употребления пищи, пока настойчивые требования организма не победили моего упрямства⁵. Конечно, душевная и умственная сторона моей жизни соответствовала всему вышеизложенному. Я проклинал моих судей и грозил им беспощадной мстью, наконец всю человеческую жизнь, весь мир, даже небо я стал признавать одной огромной несправедливостью, насмешкою и глумлением. Забывая, что в моем положении я едва ли могу быть беспристрастным, я с самоуверенностью юноши, с болезненной остротой узника приходил постепенно к полному отрицанию жизни и ее великого смысла. Это были действительно ужасные дни и ночи, когда, сдавливаемый стенами, не получающий ответа ни на один из своих вопросов, я бесконечно шагал по камере и одну за другой бросал в черную пучину все великие ценности, которыми одарила нас жизнь: дружбу, любовь, разум и справедливость.

В некоторое оправдание могу привести то обстоятельство, что как раз в эти первые и наиболее тяжелые годы произошел целый ряд событий, весьма тягостно отразившихся на моей психике. Так, с глубочайшим негодованием я узнал, что девушка, имени которой я не назову и которая должна была стать моею женой, вышла замуж за другого. Она, одна

³ То, что люди называют обычно «литературным талантом» и чем так наивно восхищаются, есть в сущности не что иное, как неудержимая склонность к вымыслу и лжи.

⁴ Подобно тому, как человек, обладающий походкою быстрою и решительною, попав на неверный путь, пойдет значительно дальше и возврат сделает более затруднительным, чем тот, кто движется медленно и вяло.

⁵ Обычно я кушаю умеренно, но, обладая сильным и крепким телом, со свойственным ему энергичным и быстрым обменом веществ, я очень скоро слабею при полном отсутствии пищи.

из немногих, верила в мою невиновность, еще при последнем прощании она клялась оставаться мне верной до гроба и скорее умереть, нежели изменить любви, – и вот всего лишь через год она вышла замуж за господина, которого я знал, человека, хотя и обладающего некоторыми достоинствами, но далеко не умного. Я не хотел понять, насколько подобный брак был естественным со стороны молодой, здоровой и красивой девушки, одаренной вдобавок особенной склонностью к материнству, – сам присужденный к длительной смерти, я хотел, чтобы и она, неизвестно для чего, поделила мою участь⁶. В настоящее время госпожа NN – счастливая и уважаемая мать, и это лучше всего показывает, насколько целесообразен и совершенно согласен с требованиями природы и жизни был ее тогдашний, столь огорчивший меня брак.

Должен сознаться, однако, что в ту пору я был далек от спокойствия. Ее чрезвычайно милое и любезное письмо, в котором она уведомляла меня о своем браке, выражая глубокое сожаление, что изменившиеся обстоятельства, внезапно вспыхнувшая любовь принуждают ее нарушить данное обещание, – это милое, правдивое, пахнувшее духами, хранящее следы ее нежных пальцев письмо показалось мне посланием самого дьявола.

Огненные письма жгли мой измученный мозг, и в диком иступлении я сотрясал двери моей камеры и звал неистово: «Приди! Дай мне только взглянуть в твои лживые глаза! Дай мне только услышать твой лживый голос! Дай мне только прикоснуться пальцами к твоему нежному горлу и в твой предсмертный крик влить мой последний, горький смех» (см. «Дневник заключенного» от 14 дек. 18...).

Из приведенной цитаты мой благосклонный читатель усмотрит, насколько были правы судьи, осудившие меня за убийство: воистину они прозревали во мне убийцу.

Мрачности тогдашнего моего мирозерцания содействовали некоторые другие события, естественности которых не мог понять мой помутившийся рассудок. Через два года после брака моей невесты, а, следовательно, после моего заключения в тюрьму через три, умерла моя мать, и умерла, как мне передавали, от глубочайшей скорби за меня. Как это ни странно, она до конца дней своих хранила твердую уверенность, что это я совершил чудовищное злодеяние. По-видимому, это убеждение было неиссякаемым источником скорби и главной причиной той черной меланхолии, которая сковала ее уста молчанием и вызвала смерть от паралича сердца. Как мне передавали, она никогда не упоминала моего имени, равно как и имен умерших столь трагически, и все свое огромное состояние, послужившее будто бы мотивом к совершению убийства, завещала на различные благотворительные цели.⁷

Теперь я понимаю, что, как бы ни велика была ее скорбь, одной ее было бы недостаточно для смерти, истинной причиной которой был преклонный возраст моей матушки и целый ряд болезней, естественно расшатавших ее когда-то крепкий и стойкий организм. Во имя справедливости я должен сказать, что мой покойный отец, человек весьма слабохарактерный, далеко не был примерным мужем и семьянином и многочисленными изменами, ложью и обманом доводил мою матушку до отчаяния, непрестанно оскорбляя ее гордость и строгую, неподкупную правдивость. Но тогда я не понимал этого, смерть матери показалась мне одним из жесточайших проявлений мировой несправедливости и вызвала новый поток бесцельных и кощунственных проклятий.

⁶ Особенно диким покажется читателю этот взгляд, если вспомнить, что я был хорошо знаком с естественными науками и лучше всякого другого мог понимать, насколько повелительны требования здорового инстинкта. Но – увы! – все мы забываем о естественных науках, когда нам изменяет любимая женщина, – да простится мне эта маленькая шутка.

⁷ Очень характерно то обстоятельство, что даже при таких ужасных условиях материнский инстинкт не совсем покинул ее: в приписке к завещанию некоторую, довольно значительную сумму она оставила мне, вполне обеспечивая мое существование как в тюрьме, так и на свободе. Отсюда, как мне кажется, следует и тот вывод, что противоестественная уверенность в моей вине не была у моей честной матушки достаточно твердой и обоснованной.

Не знаю, должен ли я утомлять внимание читателя рассказом о других событиях однородного свойства. Упомяну коротко, что меня один за другим перестали посещать мои друзья, оставшиеся у меня от того времени, когда я был счастлив и свободен. По их словам, они верили в мою невиновность и первое время горячо выражали мне свое сочувствие. Но наши жизни, моя в тюрьме и их на свободе, были столь различны, что постепенно, под давлением совершенно естественных причин: забывчивости, служебных и иных обязанностей, отсутствию общих интересов, они стали являться на свидания все реже и реже и под конец исчезли совсем. Не могу без улыбки вспомнить: даже смерть матери, даже измена любимой девушки не вызвали во мне такого безнадежно-горького чувства, какое удалось исторгнуть из души моей этим господам, имена которых теперь я и сам плохо помню.

«Какой ужас, какая боль!.. Друзья мои, вы оставили меня одного! Друзья мои, вы понимаете, что вы сделали: вы оставили меня одного? Разве мыслимо оставлять человека *одного*? Даже у змеи есть товарищ, даже у паука есть подруга, — а человека вы оставили одного. Дали ему душу — и оставили одного; дали сердце, разум, дали руку для пожатия, уста для поцелуя — и оставили одного! Что же делать человеку, когда его оставили одного?» — так восклицал я в «Дневнике заключенного», терзаясь горестными недоумениями. В юношеском ослеплении своем, в боли молодого, неразумного сердца я все еще не хотел понять, что одиночество, на которое я так горько жалуюсь, подобно разуму, есть *преимущество*, данное человеку перед другими тварями, дабы оградить от чуждого взора святые тайны его души.⁸

И, называя друзей моих «вероломными изменниками, предателями», не мог я, несчастный юноша, понять того мудрого закона жизни, по которому не вечны ни дружба, ни любовь, ни даже нежнейшая привязанность сестры и матери. Обманутый ложью поэтов, провозгласивших вечную дружбу и любовь, я не хотел видеть того, что каждодневно наблюдает из окон своего жилища мой благосклонный читатель: как друзья, родные, мать и жена, в видимом отчаянии и слезах, провожают на кладбище дорогого покойника и по истечении времени *возвращаются обратно*. Никто не закапывается вместе с мертвецом, никто не просит его потесниться и дать место возле себя в гробу, и если горестная жена восклицает, обливаясь слезами: «о, закопайте меня вместе с ним!», то этим символически она выражает лишь крайнюю степень своего отчаяния⁹. И те, кто удерживают ее, также лишь символически выражают свое сочувствие и понимание, придавая этим похоронному обряду необходимый характер торжественной печали.

Законам жизни, а не смерти и не поэтического вымысла, как бы ни был он прекрасен, должен подчиняться человек. Да и может ли быть прекрасным *вымысел*? Разве нет красоты в суровой правде жизни, в мощном действии ее непреложных законов, с великим беспристрастием подчиняющих себе как движение небесных светил, так и беспокойное сцепление тех крохотных существ, что именуются людьми!

Припоминаю при этом не лишенный интереса случай, относящийся к тому далекому времени, когда я был еще безбородым юношей, студентом второго курса. В группе с товарищами-однокурсниками я работал над трупом какого-то неизвестного, уже пожилого человека. Помню то отвращение, с каким первоначально услышал я гниlostный запах разложения, то чувство нестерпимой брезгливости и даже страха, какое испытал я при первом прикосновении моих живых пальцев к гниющему мясу. Но, захваченный интересною работой, я постепенно привык к дурному запаху, а вскоре, в один из увлекательнейших вечеров,

⁸ Пусть рассудит мой серьезный читатель, во что превратилась бы жизнь, если бы отнять у человека его право, его обязанность быть одиноким? В сборище праздных болтунов, в унылую коллекцию прозрачно-стеклянных, убивающих друг друга своим однообразием, в дикий город, где все двери открыты, окна распахнуты, и прохожие скучливо, сквозь стеклянные стены, наблюдают одни и те же явности очага и алькова. Только та тварь, что одинока, обладает лицом, и морда, вместо лица, у тех тварей, что не знают великого благодатного одиночества души.

⁹ В этом легко может убедиться сторонний наблюдатель, попробовавши хотя бы в шутку столкнуть ее в могилу.

когда случайно мне пришлось работать одному, я неожиданно почувствовал глубочайший восторг перед необыкновенным зрелищем – обратного шествия материи от жизни к смерти, от сложнейшей конструкции живого организма к простейшим элементам вещества. Долго в экстазе, который я осмелюсь назвать религиозным, любовался я трупом, сам своей неподвижной фигурой, со скальпелем в одной руке, с другой рукою, поднятою ввысь, уподобляясь объекту моего восхищенного созерцания. Так даже в юные годы случайной гостьей навещала меня прекрасная истина, полным обладанием которой только теперь я вправе гордиться.

Позволив себе это краткое, быть может, излишнее отступление, я перехожу к дальнейшему повествованию.

Часть 3

Так печально прожил я в тюрьме пять или шесть лет.

Первый спасительный луч мелькнул для меня как раз с той стороны, откуда я всего менее мог ожидать его. Здесь я должен извиниться перед читателями и особенно очаровательными читательницами, что вынужден буду говорить о вещах, о которых обычно умалчивают или ограничиваются смутными намеками. Но великий разум, который путем долгого искусства и страдания я открыл во всех явлениях жизни, да рассеет перед вами ту прозрачную мглу, которую люди неумные, невежественные и часто лицемерные набрасывают на важнейшие стороны жизни человека. Внешней неприличности дальнейшего повествования послужит оправданием, если таковое нужно, его целомудренный и высокий смысл.

Как вы, вероятно, уже догадались, речь идет о так называемом «гнусном пороке»¹⁰, к которому я естественно приведен был всей совокупностью обстоятельств.

Вначале, полный смутного и тоскливого отвращения, я упорно сопротивлялся естественному влечению, но сладкие галлюцинации и сны, наконец, полная невозможность бороться далее с телом, законно требующим своего, привели меня к тому, что я открыто и смело ступил на путь искусственного удовлетворения половой потребности. Обладая даром некоторой фантазии, неизменным объектом своих одиноких любовных вожделений я сделал ее, мою бывшую невесту, мою любовь, мою мечту и, если можно так выразиться, жил с нею в честном браке все эти десятки лет, пока совершенно естественно, с наступлением старости, не погасла во мне потребность в половом общении. И время, которое в движении своем уравнивает факты с продуктами фантазии, одинаково оставляя их только в памяти и больше нигде, дает мне, старцу, сладкую возможность воспоминаний: если бы не боязнь утомить внимание читателя, я мог бы передать ему долгую повесть любовных восторгов, мук ревности, тоски ожидания и радости мгновенных тайных встреч. И могу уверить, что эта повесть была бы нисколько не хуже, не короче, не менее реальна, чем то, что мог бы рассказать нам о своей жизни с г-жой NN ее фактический муж.

Этот случай, сам по себе, быть может, и не столь значительный, показал мне, однако, что, как человек, существо высшего порядка, обладающий не только инстинктом, но и разумом, я могу стать выше обстоятельств и найти исход там, где неразумное животное, вероятно, погибло бы жертвой мучительной неудовлетворенности.¹¹

Второе, – это случилось почти одновременно с моим вступлением в брак, – что вдруг открыло почву под моими ногами, было, как это ни странно, создавшееся убеждение, *что бегство из тюрьмы для меня невозможно*.

Первое время моего заключения я, как пылкий юноша-фантазер, строил всевозможные планы бегства, и некоторые из них казались мне вполне осуществимыми. Питая обманчивые и несбыточные надежды, эта мысль, естественно, держала меня в состоянии напряженной тревоги и мешала сосредоточиться моему вниманию на более важном и существенном¹². Отчаявшись в осуществимости одного плана, я немедленно создавал другой, но, конечно, не подвигался вперед, а лишь двигался по замкнутому кругу. Едва ли нужно упоминать, что

¹⁰ Какое нелепое название! Как мало люди разбираются в том, что действительно порочно и что часто лишь естественно и необходимо!

¹¹ Известны факты, когда некоторые животные прибегали к искусственному удовлетворению половых потребностей; но большею частью это происходило совершенно случайно, как опыт едва ли может быть повторено и во всяком разе безусловно лишено разумности.

¹² Пусть вспомнит мой благосклонный читатель прелестную сказочку А. Шопенгауэра об итальянском осле, которого заставляют подвигаться тем, что впереди перед самой мордой привязывают на палке кусок душистого сена. И бедный осел – животное далеко не глупое – идет туда, куда посылают его выгоды господина.

при этом каждый переход от одной мечты к другой был сопряжен с жестокими страданиями, терзавшими мою душу, как орел тело Прометея.

Но вот однажды, всматриваясь усталым взором в стену своей камеры, я вдруг почувствовал, как непреодолимо толст камень, как крепок цемент, его соединяющий, как искусно, с точным, почти математическим расчетом сложена эта грозная твердыня. Правда, первое ощущение было чрезвычайно тягостно; пожалуй даже, это был ужас безнадежности.

Здесь как в моей памяти, так и в «Дневнике» существует некоторый пробел; я решительно не могу припомнить, что делал я и чувствовал в течение двух или трех последующих месяцев. И первая запись в дневнике, появившаяся после долгого периода молчания, своей незначительностью не дает ключа к разгадке: в коротких и сжатых выражениях я сообщаю лишь, что мне сшили новое платье, и что я пополнил (см. «Дневник заключенного» от 16 апреля 18...).

Факт тот, что, погасив все надежды, сознание невозможности бегства раз и навсегда погасило мучительную тревогу и освободило от рабства мой ум, уже и тогда склонный к возвышенному созерцанию и радостям математики. Все еще смутно, но уже с настойчивостью, обещавшей близкое освобождение, я стал посвящать мои дни тому, что с помощью догадок и приблизительных расчетов начал вычислять размеры и твердость стен, включая сюда и те, что со всех сторон облегали нашу тюрьму¹³. Многочисленные чертежи, испещряющие тогдашний мой «Дневник», свидетельствуют о кропотливой и беспримерно настойчивой работе моей пробудившейся мысли, а дважды в разных местах повторенное и подчеркнутое гордое слово «εἵρηχα»¹⁴ уже тогда роднит меня со славным мудрецом древности, умевшим решать великие проблемы под градом вражеских стрел, на пепелище родного города.

Но первым настоящим днем освобождения я считаю следующий. Это было прекрасное весеннее утро¹⁵, и в открытое окно вливался живительный, бодрый воздух; и, гуляя по камере, я каждый раз при повороте, бессознательно, со смутным интересом взглядывал на высокое окно, где на фоне голубого безоблачного неба четко и резко вычерчивала свой контур железная решетка.

«Почему небо так красиво именно сквозь решетку? – размышлял я, гуляя. – Не есть ли это действие эстетического закона контрастов, по которому *голубое* чувствуется особенно сильно наряду с *черным*? Или не есть ли это проявление какого-то иного, высшего закона, по которому *безграничное* постигается человеческим умом лишь при непременно условии введения его в *границы*, например, включения его в *квадрат*?»

Вспомнив затем, как всегда в той жизни, при взгляде в широко открытое окно, не защищенное решеткой, или в небесный простор, я испытывал потребность лететь, мучительную по своей явной бесплодности и нелепости¹⁶, – я вдруг почувствовал нежность к решетке, нежную благодарность, почти любовь. Скованная руками, слабыми человеческими руками какого-нибудь невежественного кузнеца, даже не отдающего себе отчета в глубоком смысле

¹³ До сих пор, к сожалению, я не могу узнать имени инженера, строившего нашу тюрьму: по-видимому, и сам г. начальник, за давностью времени, забыл его имя. Так неблагодарна память у лучших людей! Впрочем, анонимность в строении нашей тюрьмы нисколько не мешает ее солидности и не уменьшает нашей благодарности к неизвестному творцу.

¹⁴ «Я изобрел» (древнегреч.).

¹⁵ 6-го мая.

¹⁶ Помню то завистливое чувство, какое в детстве испытывал я даже по отношению к воробьям, этим прозаическим птицам, пользующимся своею способностью летать только для того, чтобы с одной кучи лошадиного навоза переноситься на другую. Но мне, человеку, казалось сверхъестественно обидным, что я, человек, не имею того, чем обладает глупый воробей. Только теперь я понял, что воздушный полет в пределах нашей земной атмосферы ничего не изменит в нашем стремлении к бесконечному полету и бесплодность его сделает еще более мучительною. И, вместо того чтобы радоваться успехам воздухоплавания, как это делают мои современники, я предложил бы им серьезно задуматься над вопросом, не лучше ли для человека полная неподвижность, в крайнем случае твердое и верное ползание по земле, нежели обманное порхание в клетке? Конечно, я шучу: как новый способ передвижения, воздухоплавание имеет огромную и светлую будущность.

своего создания, вделанная в стену столь же невежественным каменщиком, она вдруг явила собою образец глубочайшей целесообразности, красоты, благородства и силы. Схватив в свои железные квадраты бесконечное, она застыла в холодном и гордом покое, пугая людей темных, давая пищу для размышления людям рассудительным и восхищая мудреца!

Это счастливое наблюдение, сделанное в прекрасное весеннее утро¹⁷, послужило только началом к целому ряду таких же. Откинув все личное, вглядываясь в окружающее холодным и зорким взглядом наблюдателя, я вскоре пришел к чрезвычайно ценному выводу, *что и вся наша тюрьма построена по крайне целесообразному плану, вызывающему восторг* своею законченностью.

¹⁷ 6-го мая.

Часть 4

Дабы сделать дальнейшее повествование более понятным моему благосклонному читателю, я вынужден сказать несколько слов о том исключительном, весьма для меня лестном и, боюсь, даже не вполне заслуженном положении, какое занимаю я в нашей тюрьме. С одной стороны, моя душевная ясность, редкая законченность мирозерцания и благородство чувств, поражающие всех моих собеседников, с другой – некоторые весьма, впрочем, скромные услуги, оказанные мною г. начальнику, создали для меня ряд привилегий, которыми я пользуюсь, конечно, вполне умеренно, не желая выходить из общего плана и системы нашей тюрьмы. Так, на еженедельные, отнюдь не ограниченные временем свидания ко мне допускаются все желающие меня видеть, что подчас составляет довольно изрядную аудиторию. Не смея вполне принять уверения г. Начальника¹⁸, что я мог бы составить «гордость любой тюрьмы», я могу, однако, без ложной скромности сказать, что слова мои пользуются надлежащим весом и что среди посетителей моих я насчитываю немало горячих почитателей и пылких почитательниц. Упомяну, что сам г. начальник, равно как и помощники его, нередко оказывают мне честь своим посещением, черпая у меня силу и мужество для продолжения их нелегкого труда. Конечно, вполне свободно я пользуюсь тюремной библиотекой и даже архивом тюрьмы; и если на мою просьбу дать мне точный план тюрьмы г. начальник ответил вежливым отказом, то отнюдь не по чувству недоверия ко мне, а лишь потому, что таковой план составляет государственную тайну. Признаюсь, не без некоторого трепета приступаю я к изображению нашей тюрьмы.¹⁹

Это – огромное пятиэтажное здание, имеющее форму буквы Т, со стенами, сложенными в пять, местами в шесть кирпичей. Расположенное на окраине города, на границе пустынного, поросшего бурьяном поля, оно издалека привлекает взоры путника своими суровыми очертаниями, суля ему покой и отдых от бесконечных скитаний. Не будучи оштукатурено, здание сохраняет естественный темно-бурый цвет старого кирпича и вблизи, как говорят, производит впечатление сумрачное, даже угрожающее, особенно на людей нервных, которым красные кирпичи напоминают кровь и кровавые куски человеческого мяса. Небольшие темные, плоские окна с железными решетками естественно завершают это впечатление и всему целому придают характер угрюмой гармоничности, суровой и мрачной красоты. Даже в хорошие дни, когда на нашу тюрьму светит солнце, она не теряет вида мрачной и угрюмой важности и непрестанно напоминает людям, что законы существуют и нарушителей их ждет кара, кара, кара!²⁰

Моя камера находится на высоте пятого этажа, и в решетчатое окно открывается прекрасный вид на далекий город и часть пустынного поля, уходящего направо; налево же, вне пределов моего зрения, продолжается предместье города и находится, как мне сказали, церковь с прилегающим к ней городским кладбищем. О существовании церкви и даже кладбища я знал, впрочем, и раньше по печальному перезвону колоколов, какого требует обычай при погребении умерших.

¹⁸ К сожалению, несколько иронические.

¹⁹ Так как материалом для описания служат главным образом мои наблюдения, естественно ограниченные моим положением узника, то заранее извиняюсь за его неполноту. Считаю своим долгом принести в этих строках горячую благодарность тем из моих любезных посетителей, которые снабдили меня большим количеством фотографий и рисунков, дающих мне возможность составить довольно точное представление о внешнем виде нашей тюрьмы.

²⁰ Интересно то обстоятельство, что крик ворона, которому народное поверье приписывает зловещее и даже угрожающее значение, когда он раздается над головою, довольно верно воспроизводит своим звуком это чисто человеческое слово: кара! кара! В зимние сумерки, когда над пустынным полем и над крышею нашей тюрьмы носятся тучи бесприютного воронья, я слышу, даже сквозь толстые стекла, этот неумолчный и зловещий крик: кара! кара! кара!

Вполне соответствуя внешней выдержанности стиля, внутреннее устройство тюрьмы столь же закончено, гармонично и целесообразно. Чтобы яснее представить это моему читателю, я позволю себе привести пример безумца, который вздумал бы убежать из нашей тюрьмы. Допустим, что смельчак обладает сверхъестественной геркулесовской силой и ломает замок на своей двери, – что он находит? Коридор, многократно прегражденный решетчатыми дверьми, способными выдержать канонаду, и вооруженных надзирателей. Допустим, что он убивает всех надзирателей, ломает все двери и выбирается на двор – быть может, он думает, что он уже на свободе? А стены? А стены, что трижды каменным кольцом обвивают нашу тюрьму!

Допуская всю эту галиматью – я умышленно упустил из виду надзор. А надзор неусыпен. День и ночь я слышу за дверьми шаги тюремщика, день и ночь в маленькое окошечко на двери за мною следит чей-то глаз, контролируя мои движения, читая на лице моем мои мысли, мои намерения, наконец, мои сны. Днем я могу усыпить его внимание ложью, придав лицу выражение веселое и беззаботное, но я еще не встретил почти человека, который мог бы лгать и во сне. Как бы ни охранял я себя днем, ночью я выдам себя невольным стоном, судорогой в лице, выражением усталости и тоски и другими проявлениями совести нечистой и беспокойной²¹. И для меня является огромным счастьем то, что я не преступник, что совесть моя спокойна и чиста: читай, мой друг, читай, – говорю я неусыпному глазу, спокойно укладываясь спать, – ты ничего не прочтешь на моем лице!

Но в одном случае тот, кто наблюдает за мной, стал невольным поверенным моим: читатель догадывается, конечно, что речь идет о моей любви к г-же NN. Должен, однако, отдать справедливость той крайней и благородной деликатности, с какою наблюдающий за мною удаляется от окна, заметив мое характерно возбужденное состояние и некоторые приготовления. Очень возможно, впрочем, что это делается по распоряжению г. начальника, из естественного чувства благодарности, так как окошечко в двери – мое изобретение. *Да, это я изобрел окошечко в двери.*

Я чувствую, что мой читатель удивлен и недоверчиво улыбается, мысленно обзывая меня старым фанфароном и лгуном, – но есть случаи, где скромность излишня и даже вредна. Да, это простое и в своей простоте гениальное изобретение принадлежит мне, так же, как Ньютоном – его бином, Кеплеру – его законы вращения светил.

Впоследствии, поощренный успехом моего изобретения, я открыл и ввел в обиход тюрьмы целый ряд маленьких усовершенствований, но они касались деталей: формы замков и т. п., и, как все другие маленькие изобретения, влились в общее русло жизни, увеличив ее правильность и красоту, но не сохранив за собою имени автора²². Окошечко же в двери – мое, и всякого, кто осмелится отрицать это, я назову лжецом и негодяем.

Пришел я к моему изобретению при следующих обстоятельствах: однажды во время проверки некий арестант железной ножкой от кровати убил вошедшего к нему надзирателя. Конечно, негодя повесили на дворе нашей же тюрьмы, и администрация легкомысленно успокоилась, но я был в отчаянии: великая *целесообразность тюрьмы оказывалась мнимой*, раз возможны такие вопиющие факты. Как можно было не заметить, что арестант отломал ножку от своей кровати? Как можно было не заметить, наконец, того несомненно возбужденного состояния, в каком он должен был находиться перед совершением убийства и како-

²¹ Лишь очень немногие люди, с чрезвычайно сильной волей, умеют лгать и во сне, искусно управляя мышцами лица, даже нередко сохраняя приветливую и ясную улыбку на устах в то время, как душа их, отданная во власть сновидениям, трепещет ужасами чудовищного кошмара, – но как исключения они не могут приниматься в соображение.

²² Между прочим, по моему совету была изменена форма кандалов в нашей тюрьме: вместо прежних колец я ввел двойное полуовальное кольцо, представляющее собою в чистом виде тот знак, который в математике символизирует бесконечность; впрочем, это изобретение относится скорее к области философского, так сказать, щегольства, так как практически прежние неумные кольца с успехом выполняли свое назначение.

вое его внимательному наблюдателю, если бы таковой существовал, дало бы возможность предотвратить происшедшее?

Поставив вопрос столь точно и прямо, я уже тем самым значительно приблизился к решению загадки; и действительно, по прошествии двух или трех недель я совершенно просто и даже как будто неожиданно пришел к моему великому изобретению. Сознаюсь откровенно, что до сообщения моего изобретения г. начальнику тюрьмы я пережил минуты некоторого колебания, весьма естественного в моем положении узника. Читателю, который все же удивится этому колебанию, зная меня за человека с чистой и незапятнанной совестью, я отвечу цитатой из моего «Дневника заключенного», относящейся к тому времени (1 сент. 18...):

«Как затруднительно положение человека, осужденного безвинно, подобно мне. Если он печален, если уста его скованы молчанием и глаза опущены долу, про него говорят: он раскаивается, он мучится угрызениями совести. Если в невинности сердца своего он улыбается ясно и благожелательно, наблюдатель мыслит: вот лживой и притворной улыбкой хочет он скрыть свою зловещую тайну. Что бы он ни делал, он кажется виновным, – такова сила предвзятости, с которой предстоит мне бороться. Но я не виновен и буду самым собою в твердой уверенности, что ясность духа моего разрушит злые чары предубеждения».²³

И уже на следующий день г. начальник тюрьмы горячо жал мне руки, выражая свою признательность, а через месяц на всех дверях, во всех тюрьмах государства темнели маленькие отверстия, открывая поле для широких и плодотворных наблюдений. Я же радовался глубоко с сознанием, что если в целесообразности тюрьмы и существуют некоторые пробелы, то не потому, чтобы в основе ее лежала ложная идея, а лишь потому, что ограничены силы человека; но чего не может сделать один, то делает другой, и так в совместной, дружной работе движется человечество к осуществлению великих заветов разума и строгих предначертаний неумолимой справедливости.

Глубокое удовлетворение дает мне весь распорядок нашей тюремной жизни. Часы вставания и сна, обеда и прогулок расположены столь рационально, в таком соответствии с истинными потребностями природы, что уже вскоре теряют характер некоторой принудительности и становятся естественными, даже дорогими привычками. Только этим могу объяснить тот интересный факт, что, будучи на свободе юношей нервным и слабосильным, склонным к простудам и заболеваниям, в нашей тюрьме я значительно окреп и для своих 60 лет пользуюсь завидным здоровьем. Я не толст, но и не худ, имею сильные легкие и сохранил почти все зубы, за исключением двух коренных с левой стороны челюсти; характер у меня прекрасный, ровный, *сон крепкий*²⁴, почти без сновидений. Фигурою своею, в которой преобладающим является выражение спокойной силы и уверенности, а также лицом я напоминаю несколько микельанджеловского Моисея – так говорят, по крайней мере, некоторые из моих любезных посетителей.

Но еще более, нежели правильный и здоровый режим, укреплению души моей и тела содействовала та удивительная и вместе совершенно понятная и естественная особенность нашей тюрьмы, по которой из жизни ее совершенно устранен элемент случайного и неожиданного. Не имея ни семьи, ни друзей, я совершенно избавлен от тех губительных для жизни потрясений, какие приносят с собою измена, болезни, наконец, смерть близких, – пусть вспомнит мой благосклонный читатель, как много людей погибло на его глазах не через

²³ Мечта некоторых увлекающихся людей о том, что наступит счастливое время, когда органы восприятия у человека станут столь чувствительны, что сделается возможным непосредственное чтение мыслей, – мне кажется абсолютно неосуществимой. Даже рентгеновские лучи, если бы таковые были открыты для души, не могут проникнуть в глубочайшие тайники ее, и всегда останется место, куда может скрыться преследуемая мысль.

²⁴ Упоминаю об этом интересном обстоятельстве, так как обычно у стариков сон очень легок и не крепок.

себя, а лишь вследствие того, что капризная судьба связала их с людьми недостойными²⁵. Не разменивая своего чувства любви на мелкие личные привязанности, я тем самым одновременно освобождаю его для широкой, мощной любви к человечеству, а так как человечество бессмертно, не подвержено болезням и в гармоничном целом своем несомненно движется к совершенству, то и любовь к нему является наиболее верной гарантией душевного и телесного здоровья.²⁶

Мой день ясен; и столь же ясны, как он, все грядущие дни, ровной и светлой чередой плывущие ко мне навстречу. Ко мне не ворвется корыстный убийца, меня не раздавит шальной автомобиль, на меня не свалится болезнь ребенка, ко мне не подкрадется из темноты жестокое предательство – моя мысль свободна, мое сердце спокойно, моя душа ясна и светла. Ясные и точные правила нашей тюрьмы определяют все, чего не должен я делать, избавляя меня от тех несносных колебаний, сомнений и ошибок, которыми так чревата практическая жизнь. Правда, и в нашу тюрьму, сквозь ее высокие стены, проникает иногда веяние того, что люди невежественные называют случаем или даже роком и что является только необходимым отражением общих законов²⁷, но потрясенная временно жизнь быстро возвращается в свое обычное русло, как река после разлива. К этой категории случайностей нужно отнести упомянутое выше убийство надзирателя, редкие и *всегда* неудачные попытки к бегству, а также смертные казни, ареною которых является один из отдаленнейших дворов нашей тюрьмы. Но и здесь я должен отдать справедливость той мудрой целесообразности, с какою проводятся казни: совершаясь обычно на рассвете, в пору наиболее крепкого сна, в надлежащем расстоянии от наших камер, они не нарушают покоя лиц сторонних и незаинтересованных. Только однажды, на рассвете, мне послышался чей-то взволнованный крик, но очень возможно, что я ошибся, приняв за призыв о помощи ночной вопль какого-либо животного или перенеся в действительность отрывок собственного сна.²⁸

Наконец есть еще одна особенность в строе нашей тюрьмы, которую я считаю наиболее плодотворною, всему целому придающей характер суровой и благородной справедливости. Предоставленный самому себе, и только себе, узник не может рассчитывать ни на поддержку, ни на ту фальшивую, досадную жалость, которая столь часто выпадает на долю людей слабых, сохраняя их для жизни и тем самым искажая основные цели природы. Признаюсь, не без некоторой гордости помышляю я о том, что если сейчас я пользуюсь общим уважением и преклонением, если мозг мой силен, воля крепка, взгляд на жизнь ясен и светел, то этим я обязан только себе, своей силе и настойчивости. Сколько людей слабых погибло бы на моем месте жертвою безумия, отчаяния, тоски – а я победил все! Я перевернул мир; моей душе я придал ту форму, какую пожелала моя мысль; в пустыне, работая один, изнемогая от усталости, я воздвиг стройное здание, в котором живу ныне радостно и спокойно – как царь. Разружьте его – и завтра же я начну новое и, обливаясь кровавым потом, построю его! *Ибо я должен жить.* Да простится мне невольный пафос последних строк, столь неидущих

²⁵ Не говоря о непосредственном воздействии одного человека на другого, с которым так или иначе связала его судьба, я сошлюсь на общеизвестное, так называемое «влияние среды». Имея своею «средой» только воздух камеры, в котором я живу, я, конечно, совершенно избавлен от этих, часто пагубных влияний.

²⁶ Известно, что все люди, обладающие могучею любовью к человечеству, как-то: пророки, великие проповедники, философы, моралисты, ученые и даже художники умирали в очень преклонном возрасте, далеко превышающем средний статистический возраст. И наоборот: все человеконенавистники погибают рано. Исключение можно сделать разве только для одного дьявола, который бессмертен, – да простится мне эта маленькая шутка.

²⁷ Не ведая большинства причин тех явлений, что составляют их жизнь, люди в недоумении останавливаются перед следствиями и создают понятие какого-то особенного вульгарного рока, который будто бы тем и занят, чтобы причинять им неприятности или доставлять удовольствие. Отсюда и уверенность, что судьбу можно надуть, как какого-нибудь ротозея, надев на руку цепочку или стараясь ничего не предпринимать в пятницу.

²⁸ Иногда днем слышится стук топора, сколачивающего эшафот, но так как этот звук ничем не отличается от того, как если бы вместо эшафота плотники строили просто качели для детей г. начальника, то лишь болезненно настроенное воображение способно найти в нем предлог для волнений.

к моему уравновешенному и спокойному характеру. Но трудно не взволноваться, вспоминая пройденный путь; надеюсь, впрочем, что в будущем я не омрачу настроения моего читателя какими-либо вспышками взволнованного чувства. Кричит только тот, кто не уверен в правде своих слов; истине же подобает спокойная твердость и холодная простота.

P. S. Не помню, говорил я или нет, что злодей, умертвивший моего отца, до сих пор еще не найден.

Часть 5

Время от времени, отступая от спокойной формы исторического повествования, я должен останавливаться на текущем моменте. Так, позволю себе в немногих строках познакомить моего читателя с довольно интересным экземпляром человеческой породы, обретенным мною случайно в недрах нашей тюрьмы. Поводом к знакомству послужило следующее обстоятельство. На днях в послеобеденную пору ко мне изволил пожаловать г. начальник для обычной беседы и, между прочим, сказал, что в тюрьме содержится в настоящее время один очень несчастный человек, на которого я мог бы оказать благотворное влияние. Я любезно выразил мою полную готовность, и вот уже несколько дней подряд, с разрешения г. начальника, я подолгу беседую с художником К. Та первоначальная враждебность, даже строптивость, с какой он, к прискорбию моему, встретил меня при первом визите, ныне совершенно исчезла под влиянием моих речей. Охотно и с интересом выслушивая мои всегда умиротворяющие слова, он постепенно, после целого ряда настойчивых вопросов, рассказал мне свою довольно необычную историю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания